

ГЕОРГІЙ АДАМОВИЧЪ
КОММЕНТАРІИ

продолженіе

Крахъ идеи художественнаго совершенства отразился отчетливѣе всего на нашемъ отношеніи къ Пушкину.

Конечно, Пушкинъ совершененъ, болѣе совершененъ во всякомъ случаѣ, чѣмъ другіе русскіе писатели. Но утверждая это, мы имѣемъ въ виду не столько богатство, разнообразіе, силу или гармоническую стройность его внутренней, умственно-душевной одаренности, сколько литературную его удачу. Прежде всего, это удача стиля, и читая, напримѣръ, Толстого послѣ «Путешествія въ Арзрумъ» или поздніе, въ каждой строчкѣ какъ бы излучающіе какой-то добрый и теплый свѣтъ стихи Тютчева (не говоря уже о Некрасовѣ, о Блокѣ) послѣ «Безумныхъ лѣтъ...» — острѣе всего ощущаешь потерю стиля (т.е. отсутствіе единаго стержня въ рѣчи). Но Толстой не слабѣе Пушкина, и если бы взглянуть изнутри, думается, и не менѣе «совершененъ». Огня въ немъ не меньше. Одинъ разъ, въ «Смерти Ивана Ильича» и онъ приблизился къ полнотѣ литературной удачи, достигнутой притомъ не отборомъ и отказомъ отъ неподходящихъ, засоряющихъ элементовъ, а включеніемъ ихъ всѣхъ и мощнымъ, тираническимъ ихъ оживленіемъ. Собственно говоря, уже съ этого момента пушкинскій «предѣлъ» пересталъ быть предѣломъ. Но много позже случилось, что литературная непогрѣшимость, словесное совершенство, были какъ бы «развѣнчаны». Что въ нихъ, на что они? Пожалуй, тутъ нѣкоторую роль сыгралъ вѣчный толстовскій вопросъ, ко всему примѣнимый, все развѣдающій: ну, а дальше что? Вотъ мы читаемъ «Безумныхъ лѣтъ...» — нѣчто вполне законченное, закругленное, скорѣй «вещь», чѣмъ «міръ». А дальше что? Именно то, что раньше плѣняло, теперь стало смущать, ибо этотъ «дивный составъ» все таки чѣмъ то подкрашенъ, чтобы даже на цвѣтъ быть такимъ приятнымъ, чѣмъ то все таки подслащенъ, чтобы убить въ немъ былъ горькій, извѣчный привкусъ творчества... Нѣтъ выхода для «дальше», это не оборванная линия, а кругъ, все само въ себя возвращается, все само себѣ отвѣчаетъ.

«Мірѣ скучаетъ о музыкѣ». Ее мало въ мірѣ. Но если ужъ она

*) См. № 1 «Чисель».

слышится, то пусть звучит полностью, безъ отбора, хотя бы и «божественнаго». Оставьте, хочется сказать. Иллюзіи «искусства» разсѣялись. Прекрасная вещь — мѣра, но не всѣмъ все таки стоитъ ради нея жертвовать.

«Граціозный геній Пушкина...». Не помню, кто написалъ это, много лѣтъ тому назадъ. Но вотъ совсѣмъ недавно Бердяевъ (которому часто случается «падать съ луны») повторилъ то же самое. Навѣрно, многіе улыбнулись, читая. Бердяевъ написалъ даже не «граціозный», а «чарующій», но reasons, постараемся сдержать улыбку. Тѣмъ болѣе, что это правда.

Какъ ни странно, это правда. Пушкинъ дѣйствительно явленіе граціозное, чарующее, послѣдній изъ «чарующихъ», удержавшійся на той чертѣ, за которой очаровывать было уже невозможно... Это — во всѣхъ планахъ, и прежде всего въ планѣ историческомъ. Пушкину удалось еще спасти «грацію» отъ уже закрадывавшейся въ нее глупости. И ничего нѣтъ болѣе противопушкинскаго, чѣмъ утвержденія, что «онъ все зналъ, все понималъ», но нашель будто бы для всѣхъ противорѣчій какую то волшебную гармонию. Во первыхъ — это голословно. Откуда вы знаете, что онъ все зналъ? Нѣтъ никакого свидѣтельства, никакого слѣда въ томъ, что онъ оставилъ. Во вторыхъ — это искажаетъ и портитъ Пушкина, низводя его до уровня тѣхъ, которые что-то «знаютъ», но однако не очень много, что-то «понимаютъ», но не совсѣмъ. Въ плоскости «знающихъ», средь дѣтей ничтожныхъ міра, Пушкинъ нисколько не замѣчателенъ и если «міровыя бездны» у Пушкина имѣются, то признаемся, это бездны довольно скромныя. Но въ томъ то и все дѣло, что «безднѣ» у Пушкина нѣтъ и въ поминѣ, что старое, естественное, наивное его пониманіе, вѣрнѣе гершензоновской ахины. Конечно, нельзя, какъ въ учебникѣ Незеленова, писать «чарующій геній», но надо иначе сказать то же самое, чтобы вновь очарованіе заняло мѣсто мудрости, чтобы вновь хрупкость и зябкость Пушкина, его отступленіе передъ будущимъ, его безнадежное стремленіе удержать игрушечно-стройную Россію, которая уже по всѣмъ швамъ расплзалась, и отказъ принять расплзаніе, хотя бы оно и было неизбѣжно (здѣсь стиль, какъ маленькое зеркало), — чтобы все это выступило впередъ по сравненію съ «провидцемъ», съ «учителемъ», съ «пророкомъ». Да и на чемъ онъ самъ стоитъ, нашъ «основоположникъ»? Откуда онъ

взялся? Изъ ничего, изъ темной ночи, изъ екатерининскаго тусклаго разсвѣта, изъ державинскаго мощнаго варварства, вдругъ, какимъ-то чудомъ это неслыханное, утонченнѣйшее совершенство, и опять, сразу вслѣдъ за нимъ сумерки, мощь, варварство, Гоголь, Достоевскій, Толстой... Россія въ это время помалкивала да съ удивленіемъ посматривала, какъ эти двѣсти лѣтъ, съ ихъ очевиднѣйшимъ началомъ и концомъ, съ головокружительной быстротой процесса рожденія, развитія и смерти, принимаются за всю ея исторію, и какъ это «чудо», непонятно-скороспѣлое, подозрительное, вѣроятно, съ гнильцою въ корняхъ, — ибо безъ этого слишкомъ ужъ непонятное, — навѣки вѣковъ канонизируется ея главной, единственной, важнѣйшей вершиной.

Два слова о «гнильцѣ». Вспомните письма Пушкина, пронзительно-грустные, которыя такъ любилъ Анненскій, чувствуя въ нихъ, вѣроятно, «свое». «Женка, женка, ангелъ мой...». Въ нихъ Пушкинъ не притворяется, позы не принимаетъ, онъ лишь отшучивается, отсмѣивается, не оглядываясь, пятится назадъ, нехотя балагурить, какъ будто зная, что все равно все пойдетъ къ чорту: Россія, любовь, стихи, все.

За что вы любите Толстого?

Вопросъ былъ предложенъ мнѣ съ оттѣнкомъ недоверія въ голосѣ. Отвѣтивъ уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, въ плоскости «нравится», мнѣ далеко не все у Толстого нравится. Языкъ? Да, конечно, языкъ у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за языкъ, это вѣдь не Лѣсковъ. Ощущеніе жизни? Да, — но оно мнѣ чуждо (при всемъ желаніи не говорить о себѣ, этого не избѣжать, когда хочешь хоть что-нибудь сказать не совсѣмъ общее; убрать себя со своей дороги трудно; здѣсь «я» не цѣль, а средство, не объектъ, а «призма»; это приходится объяснять «во избѣжаніе досадныхъ недоразумѣній», устраивать которыя всегда находятся добровольцы-любители). Многое другое вспоминалъ я, и признавая «да, и это», и все же чувствовалъ, что главное обхожу.

Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытіе, просто я снова понялъ то, что зналъ и раньше. Попался мнѣ на глаза въ тотъ же вечеръ номеръ «Россіи и Славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номеръ по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейныя страницы! О бальмон-

товскомъ «Словѣ о полку Игоревѣ» не стоитъ говорить, да этотъ нелѣпый «переводъ» и не относится къ дѣлу. Но рядомъ, со всѣхъ сторонъ, особенно на первой страницѣ: русская культура, русская государственность, завѣты Петра, традиціи Сперанскаго, наша миссія въ эмиграціи, нашъ долгъ передъ родиной, Пушкинъ, Достоевскій и Суворовъ, даже Суворовъ... И ни разу, нигдѣ нѣтъ имени Толстого. Какъ это хорошо! Какъ хорошо, что его имя невозможно въ этомъ ряду! Какъ хорошо, что нельзя устроить ко дню русской культуры засѣданіе въ Трокадеро, посвященное Толстому, — а если устроить, то получится или такая ложь, или такой конфузъ, что горько придется устроителямъ раскаиваться. А вѣдь Толстой это все таки Россія, только не такая, какъ ее представляетъ себѣ Струве. Что говорить, и Пушкинъ въ дѣйствительности не тотъ, какъ у Струве, и Достоевскій не тотъ, но они безпрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуютъ въ маскарадѣ, они даже сосѣдству съ Суворовымъ не очень удивляются. А въ Толстомъ правдивость такъ сильна, что его не сломаешь. Онъ и послѣ смерти «не можетъ молчать», и поэтому на юбилейномъ празднествѣ, съ демонстрированіемъ нашихъ національныхъ славъ, лучше и благоразумнѣе сдѣлать видъ, что его въ Россіи никогда и не было.

Повторяю, это мелочь. Ну, что такое какая то парижская газетка, что такое «день русской культуры» съ рѣчью профессора Кульмана и хористками въ кокошникахъ? Но Толстой всюду таковъ, въ маломъ и въ великомъ.

Надо бы намъ условиться, что безъ него русской культуры не будетъ, — хотя и совсѣмъ неясно еще, какъ его въ какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь съ нимъ — и безъ буафорин, разумѣется, — чѣмъ любое благоустройство, его будто бы «преодолѣвшее» и успокоившееся на Суворовѣ. Здѣсь сразу, если продолжить мысль, возникаетъ другой вопросъ, глубже и больше — о Христѣ, который до сихъ поръ противостоитъ всей культурѣ «огромной и тревожной тѣнью».

(Струве, совсѣмъ какъ Ленинъ, разсчитываетъ, повидимому, что «глупость спасетъ міръ». Едва ли! И нельзя же Россію «подмлаживать» безъ конца. Если она и не сгниетъ, то окоченѣетъ).

Въ судьбѣ и дѣятельности Толстого одно обстоятельство смущаетъ. Имъ владѣла навязчивая идея, будто въ каждомъ человѣческомъ поступкѣ, въ каждомъ словѣ есть доля лицемѣрія. Онъ вскрывалъ это лицемѣріе съ неутомимой настойчивостью, доходя иногда до ясновидѣнія и находя ложь тамъ, гдѣ ее никто никогда не замѣчалъ. Въ сущности, это «совлеченіе покрововъ» есть его главный художественный приѣмъ, тотъ, которому онъ больше всего остального обязанъ репутацией «сердцевѣда». Онъ и вправду зналъ людей какъ никто. Но не случилось ли ему твердить будто по инерціи «ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось больше? Ему вѣрили потому, что онъ обладалъ неотразимой, гипнотической убѣдительностью. Но это уже былъ бредъ, магіакальная подозрительность, а не зоркость.

Въ лицемѣріи онъ заподозрилъ и Бога, только церковнаго, конечно. Онъ отвергъ обрядность, ибо «зачѣмъ это Богу нужно?». Неужели, если есть Богъ, если Богъ это Богъ, ему требуются какія-то ухищренія, штучки, фокусы, и нельзя къ нему обращаться открыто, просто, какъ бы «съ глазу на глазъ», безъ проводниковъ и посредниковъ? Цѣль необходима въ спиритизмѣ, для вызова духовъ, но неужели она нужна и Богу? Затѣмъ, неужели Богу не противны славословія, воскуренія фиміама? Вѣдь вотъ даже ему, человѣку, Толстому, это противно, и лишь по слабости своей иногда этимъ наслаждаясь, онъ знаетъ и чувствуетъ, что наслаждаться нечѣмъ. Зачѣмъ вообще Богу вѣра въ него? Богу должны быть нужны только дѣла... Религія Толстого вся вышла изъ этого ощущенія, протестантскаго въ основѣ и при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительнаго, чрезвычайно «серьзнаго». Есть вообще въ обликѣ Толстого, — какъ и въ позднемъ протестантствѣ, — какое то глубоко человѣчное, очищающее и честное величіе... Но требуя отъ Бога прямоты, Толстой уничтожилъ его. Вѣры у Толстого нѣтъ. Есть только вопрось, «порывъ» — безъ отвѣта. Ищущимъ Бога онъ не даетъ ничего.

Такъ путь къ правдѣ оказался путемъ къ небытію... Не ошибся ли Толстой въ расчетѣ? Не бросилъ ли онъ вызовъ вмѣстѣ съ «цивилизацией» и всему міровому строю, въ которомъ доля условности допущена? Можетъ быть Богу нужны «штучки»? Можетъ быть Богъ, вообще то мало во что вмѣшиваясь, склоненъ все же скорѣй поддержать «общественное мнѣніе», нежели тѣхъ, которые требуютъ невозможнаго?

Толстой съ этимъ никогда бы не согласился, но какъ знать, не остается ли онъ — и съ нимъ вмѣстѣ далекій его Учитель — въ ужасномъ и безисходномъ одиночествѣ?

ИЗЪ ПИСЕМЪ А

«Сень-Сансъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ въ девяностыхъ годахъ къ нему пріѣхала какая-то дама, американка... Разговоръ шель о музыкѣ. Сень-Сансъ посмѣивался надъ вагнеристами, надъ ихъ крайностями. Для иллюстраціи какой-то своей мысли, онъ подошелъ къ роялю и взялъ два аккорда, два простыхъ трезвучья, минорное и мажорное, тѣ, съ которыми просыпается на скалѣ Брюнгильда. «Здравствуй, солнце!».

Дама поблѣднѣла и упала въ глубокой обморокъ.

Сень-Сансъ смѣется. Это вѣдь самые простые аккорды, они у него самого встрѣчаются десятки разъ въ томъ же сочетаніи. Ему нечего возразить... Но гдѣ она, эта дама? Жива ли она еще? Слышитъ ли она еще то, что слышала тогда? Я хотѣлъ бы поцѣловать ея руку».

«Можетъ быть, литература вовсе не то, что мы съ вами думаемъ. Можетъ быть, правда, нужно «прорабатывать характеръ», «искать связи съ эпохой», «очищать стиль», «идти впередъ»? Вообще, съ пользой работать на словесной нивѣ, и только. Понимаете ли мой другъ? Безъ ироніи? Работники вправѣ сердиться, у нихъ отличные доводы, за нихъ надежные союзники. Они вообще во всемъ правы. Но тогда, будемъ откровенны, — я плюю на литературу».

«Въ Москвѣ холодно, хотя по календарю и весна. Послушайте, не мѣшайте имъ. Ну, допустимъ, они провалятся, допустимъ (хотя по совѣсти, не думаете же вы, что они провалятся окончательно, во всемъ?). Ну, а мы — не интеллигенція, а шире, въ «міровомъ масштабѣ»? Вы все бережете, вамъ всего жаль. Благодарите Бога за то, что еще все такъ вышло, могло быть гораздо хуже и только по какому то необъяснимому попустительству судьбы, не стало хуже. Не мѣшайте имъ, я забочусь не о нихъ, а о васъ, въ особенности же не смѣйтесь надъ ними. Тяжкій млатъ дробить булатъ, вы брезгливо кривите губы отъ эстетической вульгар-

ности, а въ сущности, какъ Джіоконда въ удивительныхъ примѣчаніяхъ Флоренскаго, отъ того, что разъ все погнбло, такъ отчего же не улыбнуться на всякій случай, не пококетничать съ рокомъ? Правда? Ихъ богохульства — ничего, Богъ не обидится. Не хуже, чѣмъ «Исусе, Исусе» прежнихъ богадѣлокъ. Все ничего, потому что въ вѣрномъ направленіи. Простите, это плоско, но не морщитесь, я пишу противъ себя самого, въ рѣдкую, рѣдчайшую минуту зрячести самоустраненія».

«Не надо говорить о смерти. Это заразительная, мелко-заразительная тема, она соблазняетъ въ людяхъ ихъ слабость, она имъ по вкусу, какъ что-то сладковатое и снотворное... Начинается «умираніе скопомъ», не опасное, но довольно таки мерзкое, въ качествѣ зрѣлища. Вы думали, они ужаснутся, а они восхитились: «ахъ, какъ мило, ахъ, какъ увлекательно».

«Конечно, стихи лучше печатать безъ картинокъ на обложкѣ. Но мнѣ все таки хотѣлось бы одну обложку нарисовать.

Надо, чтобы сверху было много бѣлаго мѣста, пустого, какъ небо. А внизу неясно, какъ послѣ землетрясенія, но не совсѣмъ такъ, чуть-чуть иначе, страннѣе, одно на другомъ, огромная расползающаяся груда— камни, деревья, какая нибудь невозможно-прекрасная южная пальма, дома, мосты, высокій гнутый электрическій фонарь, какъ ночью, подѣзжая къ большой станціи, книги, куклы, руки, чье-нибудь спокойное и мертвое лицо... и вдали, опустивъ голову, стоитъ человѣкъ и на все это смотреть.

Нарисовать бы я не могъ, впрочемъ. Вышло бы вѣроятно глупо и безвкусно. Я вижу внутренне, но не вижу внѣшне».

«Не выношу Владимира Соловьева. Не выношу скорбно-шарлатанской наружности его, «съ выраженіемъ на лицѣ», при взглядѣ на которое совѣстно становится за Соловьева, за эту смѣсь библейскаго апостола съ фокусникомъ; убралъ бы я ему эту прядь со лба, подрѣзалъ бы одухотворенную бороду, спрыснулъ бы одеколономъ, вотъ быть и посмотрѣли вы тогда на вашего всемірнаго пророка. Не выношу его гладкихъ и возвышенныхъ разсужденій, не выношу его холодно-трупныхъ стиховъ, несмотря на Вячеслава Иванова, «за то, что оба Соловьевымъ таинствен-

но мы крещены» и безгрѣшнаго Блока... Послушайте, вѣдь можно въ стихахъ о чемъ угодно болтать, можно какихъ угодно туда безднѣ и мраковъ набить, но это еще не значить, что стихи о б ъ э т о м ъ ! Здѣсь не «какъ» и «что», а полное сляніе. Вѣдь такъ пишутся трактаты о садоводствѣ, а потомъ, совершенно также о машиностроеніи, и дѣйствительно это вотъ о садоводствѣ, а это о машиностроеніи. Но стихи, литература другое дѣло, и поминай онъ Мадонну сколько захочетъ, онъ говоритъ, только о какихъ то поверхностныхъ мелочахъ! И этотъ-то эlegantный безумецъ осмѣлился еще третировать Некрасова, свысока, «обмануль глупцовъ», «расчетливый обманъ», «шумящій балаганъ», подумаешь! Некрасовъ, правда, ничего не понималъ кромѣ народушка и картишекъ (кстати, Кони, какъ то на самой старости лѣтъ въ «Домѣ Литераторовъ» рассказывалъ, озираясь пугливо по сторонамъ, чтобы не подслушала «исторія», любопытнѣйшія штучки о Некрасовѣ. И кое-что въ другомъ родѣ о другихъ, еще знаменитѣе). Но Некрасовъ п р о м ы ч а л ь не находя словъ, о великихъ, дѣйствительно мировыхъ трагедіяхъ, какъ глухонѣмой, и за сердце хватаешься читая его, отъ высоты и ужаса полета, отъ отсутствія воздуха. Въ черновикѣ и въ проэкціи Некрасовъ величайшій русскій поэтъ. А этотъ сочинялъ свои мистическіе мадригалы, и думалъ, что это поэзія.

Еще, — шуточки. Ужъ тутъ и вы согласитесь. Вообще то шуточки противны, вездѣ и всегда, но соловьевскія, когда онъ съ другими своими боролатыми confreres переписывается въ стихахъ, и всѣ его пародіи, это ужъ свѣше силъ. Помните, «Христось никогда не смѣялся?».

Есть древняя легенда, которую всѣ знаютъ. Но зная, будто сложили на полочку, гдѣ лежать прочія «цѣнности» — для обозрѣнія по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ.

Богъ не создалъ міра, не хотѣлъ создавать его. Міръ «вырвался» къ бытію противъ его воли, изъ его полноты, рискнулъ пожить за свой собственный страхъ, на авось, на будь что будетъ. И вотъ выясняется, что ровно ничего не «будетъ». Смерть непобѣдима, несчастія и страданія неустраняемы, ихъ будетъ все больше и больше на «пути прогресса», потому что пути нѣтъ, прогресса нѣтъ, и всякое «впередъ» есть только дальнѣйшій прыжокъ въ пустоту, безъ малѣйшей надежды на что либо опереться, чего либо достигъ... Конечно, это удивительное сказаніе съ

удивительными выводами, которые изъ него сами собой дѣлаются, не для всѣхъ на «полочкѣ цѣнностей». Оно многихъ помучило, но его слѣдовало бы предложить на ежедневное размышленіе всѣмъ людямъ, какъ «пробный камень» внутренняго опыта, какъ духовное упражненіе. Оно опровергается только изнутри, не умомъ, а какимъ то согласіемъ со всей жизнью, «солидарностью» съ ней до тѣхъ ея слоевъ, которые невозможно заподозрить въ своеволии. Но сомнѣніе остается. А что, если все это обманъ, иллюзія, — это сліяніе съ природой, эти лѣтніе полдни, когда все видимое, окружающее такъ спокойно и счастливо, и почти одушевленно приглашаетъ и человѣка къ покою и счастью, — если все это обманъ?

Закаты не обманываютъ, — куда они зовутъ? Поэзія не обманываетъ, — о чемъ она? Откуда она и куда?

Отчего въ шестнадцать лѣтъ, «на порогѣ жизни», человѣку всегда такъ безотчетно-тревожно, и такъ понятны ему закаты, такъ близка ему поэзія, какъ будто именно у порога, «оттуда», его въ послѣдній разъ призываютъ оглянуться, возвратиться, одуматься? А потомъ человѣкъ становится инженеромъ или поступаетъ въ банкъ, и ужъ до самой смерти ни на что не оглядывается... И вотъ въ душу закрадывается соблазнъ, истиннѣ «послѣдній»: не надо ли «погасить міръ», т.-е. на это работать, потому что всякое подлинное «впередъ» лежитъ лишь по направленію назадъ, а если упорствовать и заниматься «строительствомъ» въ любомъ стилѣ, въ любомъ вкусѣ, то никогда ничего кромѣ умноженія бѣдствій не получится. «Могій вмѣстити, да вмѣститъ». Принципиальные и прирожденные оптимисты ничего не подозреваютъ, впередъ безъ страха и сомнѣнія, и точка. Ихъ опытъ не имѣетъ никакого значенія ни въ жизни, ни въ искусствѣ, потому что они просто на просто не знаютъ, въ чемъ дѣло, «не подозреваютъ». Если имъ растолковать, они отвѣтятъ «полноте, батенька, чепуха-съ!». (Оттого этотъ человѣческій стиль «батенька» и такъ далѣе, во всѣхъ его современнѣйшихъ и утонченнѣйшихъ разновидныхъ разномыслияхъ, невыносимъ до дрожи, до гошноты, какъ кощунство... И рядомъ такъ хороша «задумчивость»). Но тотъ, кто услышалъ «голосъ оттуда» и справился съ нимъ, дѣйствительно достоинъ быть учителемъ человѣчества. Если даже все остается гадательнымъ, какъ въ пари Паскаля, лучше наугадъ рѣшить «да», чѣмъ наугадъ сказать «нѣтъ», — а здѣсь, въ этомъ случаѣ, не только лучше, но мужественнѣе, прекраснѣе, милосерднѣе, труднѣе, не знаю, какъ сказать еще...

Въ сущности въ этомъ все таинственное обаяніе Гете. Другіе или плохо слышали, или — какъ русская литература, — не окончательно справились.

Кажется, тайна писательства заключается въ ощущеніи вѣса слова. Не только въ составленіи фразы, гдѣ тяжесть имѣетъ огромное значеніе и при одаренности пишущаго, интонаціонно приходится тамъ, гдѣ требуется поддержки смыслъ. Не только въ умѣннн согласовать это распредѣленіе вѣса съ видимо-естественнымъ теченіемъ рѣчи.

Но еще и въ томъ, больше всего въ томъ, что слово падаетъ на точно-предчувствуемомъ (нельзя сказать — отмѣренномъ) разстояніи, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишкомъ близко — оно безжизненно, слишкомъ далеко — оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящіе писатели такъ рѣдко бываютъ многорѣчивы, что напрасное разбрасываніе словъ имъ претитъ. Безошибочность же первоначальнаго «толчка», если и не всегда требуетъ вдохновенія есть все же результатъ напряженія всего существа — ума, сердца, воли. «Набить руку» тутъ нельзя.

Сейчасъ почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конешъ. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна изъ виду линія, на которой слово должно падать. Она стерта, затоптана, и ни талантъ, ни техника не помогаютъ — слова падаютъ то далеко, то близко. «Пишите прозу, господа», сказалъ когда-то Брюсовъ. «Пишите прозу, господа», говоритъ сейчасъ поэтамъ само время. Дайте стихамъ «отдохнуть», какъ даютъ отдохнуть землѣ.

продолженіе слѣдуетъ